

## В ПОИСКАХ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ...

В. М. Акаткин

*Воронежский государственный университет*

Поступила в редакцию 28 августа 2017 г.

**Аннотация:** в статье рассматривается один из самых сложных и драматических периодов в творческой биографии А. Т. Твардовского — рубеж 20–30-х годов, когда выбор пути автора совпал с жизненным самоопределением героя в трагических обстоятельствах «великого перелома».

**Ключевые слова:** Великий перелом, коллективизация, колхоз, раскулачивание, единоличник, Соловки, канал, земля, хозяин, хутор, путь, поиск, страна Моравия, пространство, мир, человек, мечта, утопия.

**Abstract:** the article discusses one of the most difficult and dramatic periods in the A. T. Tvardovsky's creative biography, the turn of the 20–30-ies, when the author's choice of the way coincided with the hero's vital self-determination in the tragic circumstances of the «great break».

**Key words:** Great break, collectivization, kolkhoz, dispossession of kulaks, peasant, Solovki, channel, earth, host, farm, way, search, country Moravia, space, world, person being, dream, utopia.

Что с нами было в двадцатом веке? С чем мы явились на порог века двадцать первого? Ключ к загадке нашей истории еще не найден. А его следует искать прежде всего в духовном и совестном состоянии человека, в том культурном багаже, который удалось сберечь. Чтобы найти этот ключ, надо, по словам Твардовского, всё «назвать по-правдашнему» [1, 203].

В начале 60-х, размышляя о причинах разочарования в социализме и коммунизме, он указывает на то, что стало очевидным гораздо позднее: автократия, деспотия и беззаконие, неслыханная жестокость и самоистребление, хозяйственные просчеты, нехватка всего для нормальной жизни. За всем этим он увидел и то, что со всей неприглядностью проявилось на рубеже столетий: «Огрубление нравов, навыки лжи, лицемерия, ханжества, самохвальства и т. д. и т. п.» [1, 100]. Эти причины можно называть и называть, но это верхний слой социума, а до глубины надо еще долго докапываться: «Лежит же где-то подо всей этой шелухой и мусором подлинная история сложнейшего и значительнейшего периода нашей огромной страны со всеми ее последствиями для мирового развития» [1, 203]. А она, словно годовые кольца на дереве, откладывается в делах и помыслах людей, в нравственном составе человека, в метаморфозах народной культуры. При этом Твардовский понимал, что нужно отделить «навязанное временем» от не поддающейся его диктату сущности человека, которая не определяется только особенностями того или иного режима.

В конце жизни, проходясь «с огнем и мечом» по своему раннему творчеству, «вымахивая» из него отболевшее и «помертвелое», Твардовский оставляет то, что было внушено наивной верой и даже заблуждением. Историю, в том числе поэтическую, нельзя чистить: «Если можно у истории отнимать то, что было на самом деле, то, конечно, можно и приписывать ей то, чего не было и нет. Так оно и делается. И этого именно хотят от литературы. Мрак» [1, 485]. Терзаясь над главой о Сталине в поэме «За далью — даль», которую в конце концов он назовет «Так это было», Твардовский записывает в рабочую тетрадь: «Тема страшная, взявшись, бросить нельзя — все равно что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и больше не убивать членов семьи. Тема многослойная, многорадиусная — туда и сюда кинься — она до всего касается — современности, войны, деревни, прошлого — революции и т. д.» [2, 175]. Под полом нашей истории много чего зарыто, только выкапывать все равно придется, чтобы жить в ней и нам, и нашим потомкам...

Бывает так, что подлинное «Я» поэта только-только доходит к нам, словно звук за пролетевшим лайнером. «Впереди еще Твардовский, вновь понятый и заново открытый веком XXI-м» [3, 468], — написал недавно историк М. Гефтер. Потому впереди, что неполно и не всегда верно его прочитали, что эпоха его еще не остыла от противоборствующих идей и страстей. Одна из главных заповедей поэта — «быть самим собой» — ставила его вне писательских тусовок и кружков, и критики недоумевали, в какую же ячейку этого автора вписать: крестьянский, кулацкий, пролетарский, русский, советский, народ-



сердитый авторский взгляд: «богов» не повесим, лампадка не будет тлеть (не гореть, а уничтожительное «тлеть»), дедовская «плесень» — как обобщающая оценка. Старое и новое здесь несовместимы, что закреплено композицией стихотворения: за каждым — отдельная строфа. И все же конфликт между ними постепенно ослабевает, старое встраивается в новое: «И бревна старые в забор Меж новых улеглись» [7, 291]. Это и становится творческой стратегией Твардовского на рубеже 20-30-х годов. Разумеется, надо учитывать особые условия реализации этой стратегии. По сравнению с Золотым и Серебряным веком резко меняется статус писателя в веке новом — Железном. Делаются всяческие попытки, в том числе насильственные, создания управляемой литературы, подчинения сферы идей и чувствований чиновно-государственному контролю. Как ни в какое другое время прямые контакты писателя с действительностью становились опасными.

Предвоенная эпоха была когда-то нашей гордостью, чередой успешных строительных пятилеток, немыслимых рекордов на земле, под землей, во льдах и в небесах, эпохой сплошной коллективизации и окончательной победы социализма, эпохой новых людей, идущих с песней по жизни. От «наших достижений» кружилась голова, «и столько нам завидных далей сулила общая мечта».

Сомненья дух нам был неведом;  
Мы с тем управимся добром  
И за отцов своих и дедов  
Еще вдобавок доберем.

Мы повторяли, что напасти  
Нам никакие нипочем,  
Но сами ждали только счастья, —  
Тому был возраст обучен [8, 187].

В перестроечные времена эта эпоха становится нашим проклятием, в ней ищут причины всех наших бед и поражений, хозяйственного разлада и деградации, духовного и культурного одичания. Все самое темное и страшное, что можно было рассказать о той эпохе, рассказано. И все же... И все же не в той ли эпохе заложены такие ценности, мечты, идеалы, измена которым никогда не простится нам, не даст нам жить спокойно ни в нищете, ни в изобилии. Обращаясь к героям 30-х, запечатленным на фотографии, М. Каминарская пишет: «Есть в вас какая-то притягательная сила, печать гибельного восторга, счастье обладания идеалом и предвидение его трагической и безжалостной утраты» [9, 124]. Причастный к суду над той эпохой, Твардовский все же признает: «Мы жили замыслом заветным».

Когда же начинается поэт А. Твардовский? Как известно, счет своим писаниям он ведет со «Страны Муравии» — произведения зрелого, классического. Ни раннюю лирику, ни поэмы, ни прозу (даже «Дневник председателя колхоза») он в свои писания не

включил. Почему? Отчасти по причине высокой требовательности к себе, но еще и потому, что немало натерпелся в молодые годы от критики за «кулацкие вылазки» на литературном фронте и едва не был репрессирован. «Твардовского мы “начинающим” не помним, — писал С. Маршак в 1961 году. — Вполне взрослым человеком с немалым жизненным опытом и зрелым чувством ответственности вошел он смолоду в литературу» [10, 12]. Он также имел в виду «Страну Муравию», опубликованную в 1936 г. Однако начинался Твардовский задолго до этой поэмы, целое десятилетие неустанно работая над пополнением своего культурного багажа и обретением поэтического языка.

Смоленский период (1925–1936) оказался для него необычайно плодотворным, хотя во многом ученическим: им написано около 350 произведений разных жанров, из них пять поэм («Путь к социализму», «Вступление», «Игнат Соловьев и его бригада», «Мужичок горбатый», «Страна Муравия»), три пьесы («На сходке», «Поджог», «Угощение»), повесть «Дневник председателя колхоза», более 200 стихотворений, рассказы, очерки, заметки, корреспонденции, лозунги, статьи, переводы. Он печатался в 25 газетах и 18 журналах, преимущественно столичных («Журнал крестьянской молодежи», «Знамя», «Красная новь», «Огонек», «Октябрь» и др.). Естественно, он стал одним из самых приметных объектов для критики, поначалу поддерживающей и доброжелательной, а с началом коллективизации все более жесткой, суровой, поистине зубодробительной. Его избивали и печатно и устно, громили как подкулачника, кулацкого поэта, врага советской власти и колхозов, призывали раскулачить и выслать вслед за отцовской семьей в места не столь отдаленные, дважды исключали из Смоленской ассоциации пролетписателей. Поводом для нападков были и его произведения («Четыре тонны», «Первая бригада», «Гостеприимство», «Мужичок горбатый» и даже «Страна Муравия»), и он сам — смело и независимо мыслящий, стремящийся сказать сложную правду о крестьянстве, о драматических коллизиях «великого перелома», свидетелем и участником которых он был. Для многих его собратьев по перу эти коллизии разрешились лагерными сроками и даже гибелью, сам он случайно избежал ареста. Мы знаем, какими заботами и тревожностями жили герои его произведений, но нам мало что известно об авторе, а ведь его состояние ничем не отличалось от моргунковского. Завесу открывают «Несгоревшие письма» поэта и его жены Марии Илларионовны критику Ан. Тарасенкову 1930–1935 гг., которые легко переложить в драму и даже в трагедию. Оставим на потом строки о бытовом неустройстве, голодании, нищете и т. п., обратимся к словам, характеризующим его общественное положение и душевное состояние. В них тревога, боль, ожидание беды, безвыходность

и редкие проблески надежды на спасение: «Потопить меня хотят — это ясно» [11, 7], «Буду ли жив» [18], «Нет уж у меня сил описывать тебе, какие гадости, какую самую варварски-подлую политику подняли опять на меня! Просто не могу...» [20], «Выходит, что я страшный преступник...» [20], «Я добит до ручки» [21], «Неужели это мой конец» [22], «Может, я действительно классовый враг и мне нужно мешать жить и писать» [22], «Замуторили меня здесь в Смоленске, что я и выразить не могу» [22], «Либо лишат меня огня и воды, как говорится, либо я буду возвращен в лоно советских (писателей. — В. А.) и допущен к дальнейшему писанию» [33], «Либо заклюют меня гады, либо будут попрыны» [34], «Порой делается тоскливо, хоть удавись, но постепенно овладеваю собой... Работаю (больше мысленно) над четырьмя книгами» [41]. Первая и вторая — «Книги стихов», а третья — «Путешествие Никиты Моргунка» (условно). Размер найден. Размер, дающий богатейшие возможности [41], «Не обольщаюсь, не упиваюсь, чувствую всю грандиозность задачи, трепещу, но вместе с тем уже не умею представить самого себя на земле без этой книги» [43], «Состояние ужасное. Скорей бы все кончилось с поэмой, угробили бы меня, что ли» [44], «Сам-то я знаю, что поэма плоха, но когда хвалят другие — приятно. Человек грешен» [45].

«Страну Муравию», с которой Твардовский ведет счет своим писаниям, он назвал поэмой-сказкой. Нелегко представить себе другой жанр, который адекватно выразил бы все, что происходило на рубежах «великого перелома». Как никакая другая, эта эпоха была «трудновата для пера», для прямого изображения. Сказка сглаживает острые углы и способна вобрать в себя самое несоединимое. Поэтому, наверно, М. Гефтер называет поэму «неожиданностью» [3, 474]. В самом деле, она была неожиданностью как для 30-х годов (кулацкая), так и для постсоветских (прославляющая сталинскую коллективизацию). А она о самоопределении крестьянства, лишившегося Земли и Воли, о выборе и потере им своего пути. Колхозный сторож в ночной беседе говорит Моргунку:

Обо всем на белом свете  
Можно думать не спеша:  
О земле, о бывшем боге,  
О скитаниях людей,  
О твоей хотя б дороге,  
О Муравии твоей.

Люди, люди, человеки,  
Сколько с вами маяты! [7, 299].

Долгое время коллективизацию принято было изображать как ряд плановых мероприятий, реализующих постановления партии и правительства, а также как инициативу снизу, вызванную невозможностью мелкого собственника выбиться из

нужды вне колхоза. Твардовский в письме к А. Г. Дементьеву (конец 1953 г.) даст совершенно иное объяснение этого процесса. Мужик, по его словам, «имел советскую власть, получил землю (при НЭПе. — В. А.), построил хату из панского леса, пользовался с.-х. кредитом и т. п. ... Он только что начал жить, только что поел хлеба вволю. И при этих условиях он мог, по глубокому моему убеждению, воздерживаться от “коммуни” еще этак лет 200–300, даже при наличии образцовых, показательных колхозов-коммун...

Короче, суть вся в том, что колхозы явились не из потребностей единоличного (среднего) хозяйства, а из общегосударственной необходимости (отсутствие товарного хлеба с ликвидацией крупного помещичьего хозяйства, диктата кулачества и т. п.). Без этого невозможно понять, пишет он далее, «откуда фальшь и натяжка в изображении такого драматического периода в жизни народа». Именно в драматизме видел он «сильнейшую и ценнейшую сторону “Страны Муравии”, в которой делался упор не так на “материальность” единоличной жизни, как на ее “поэзию”, традиционную красоту. Не будь этого, нечего было бы и говорить об этой книге теперь» [4, 109–110]. Деревня ответила на коллективизацию не только грозным ропотом протеста, но и «сотнями локальных крестьянских восстаний» [12, 522]: «В сущности, даже Октябрьская революция была менее радикальной, нежели сталинская “революция сверху”» [12, 522]. То, что «политика коллективизации была страшной борьбой», в этом признался и сам вождь. Воевать пришлось с миллионами крестьян, откровенничал он не перед своей страной, а перед Черчиллем: «Это было что-то страшное, это длилось четыре года... Многие крестьяне согласились пойти с нами. Некоторым из тех, кто упорствовал, мы дали землю на Севере для индивидуальной обработки. Но основная часть их была весьма непопулярна и была уничтожена самими батраками» [13, 101]. Здесь и правда, и ложь, и цинизм, и стремление перевалить вину с одних на других. Война с крестьянством началась задолго до «великого перелома»: комбедами, продотрядами, советами, регулярными войсками — вплоть до артобстрелов и газовых атак, полного сжигания сел и деревень, взятия огромного числа заложников, показательных казней и т. д. Редко кто в мире так неистово подвигал народ к лучшей жизни на земле...

Каковы же главные итоги «великого перелома»? Они еще не подведены, но уже многие очевидны. Это раскрестьянивание, пролетаризация сельского населения, утрата власти земли и власти природы, мутация национального сознания. В результате, пишет Н. А. Ивницкий, «крестьянство перестало существовать в прежнем значении этого слова» [14, 259]. Масштабы произошедшего вполне сопоставимы с последствиями мировой войны: «За время коллективизации численность крестьянских

хозяйств уменьшилась на 5,7 млн, или примерно на 25 млн человек» [14, 257]; раскулачено «не менее одного миллиона крестьянских хозяйств с населением 5–6 млн человек»; «более трети раскулаченных или 2 млн 140 тыс. человек было депортировано в 1930–1933 гг.»; до Великой Отечественной «было выслано около 4 млн человек», из них «умерло от голода и болезней не менее 800 тыс. человек» [14, 257].

Сегодня поэма «Страна Муравия» не в чести. Нет ее ни в школьных, ни в вузовских программах, ни в критических рефлексиях о поэзии, о жизни, о крестьянстве, о земле-матушке. Бойкие перестройщики поспешили устроить поминки по советской литературе как временном заменителе литературы настоящей, но смогут ли они отметить хотя бы одним шедевром, равновеликим «Стране Муравии»? Вряд ли.

«Стихи не умирают», — изрёк озорной старик В. Б. Шкловский. Он сказал это еще в советские времена, словно предчувствуя постмодернистские атаки на классику: «Сейчас пытаются уйти от наиболее важного, от того, для чего существует искусство, — от познания мира. А все знаки бессмысленны, если они не семафорят о жизни человека во вселенной» [14, 109]. Все в «Стране Муравии» «семафорит» о жизни, о выборе пути в потрясенной до основания российской вселенной. Для нас очень важны все знаки на дороге, по которой шел Моргунок к своей Муравии. Уж очень длинной, даже дальше наших дней, оказалась дорога у русского крестьянина...

Первые подступы к «Стране Муравии» можно обнаружить в записи от 6-го октября 1934 года: «За “эпопею”, покамест, не буду братья, но думать и готовиться нужно. Книга эта должна будет явиться последним словом о крестьянстве, колхозах, годах великого перелома. Верю покамест чисто теоретически в нее, может быть, потому, что все же задумана она несколько извне» [16, 330]. То есть под воздействием речи А. Фадеева на съезде советских писателей, делегатом которого был Твардовский. Но время жгло, поджимало, и уже через два дня поэт «не выдержал, начал писать» [16, 331]. Но что означает «последнее слово»? Можно предположить всякое, только загадка остается.

В первых же «пробах размера» муравского стиха взяли верх мелодии, напоминающие похоронное голошение. Состояние Моргунка, покидающего дом, близко к отчаянию, как и у автора в «Несгоревших письмах».

С такого дела в самый раз —  
Ведро вина купить.  
Созвать без выбора гостей  
И смертным поем пить.

И петь и плакать жалостно,  
Чтоб выла вся семья.

Прощалась... Рассталась...  
Сырая мать земля.

Земля его нерытая, —  
А что ему земля!  
Семья его разбитая, —  
А что ему семья!..

Ни прадеды, ни деды  
Не покидали двор.  
Переживали беды,  
Неурожай и мор [16, 331].

Как это напоминает кулацкую свадьбу-поминки перед выселением на Соловки, но перед нами Никита Моргунок, бегущий от колхоза. Впервые в череде поколений пришлось ему покинуть двор, значит, пришла такая беда, от которой нет спасения. Впервые пришлось ему «за прадедов и правнуков решать вопрос» [16, 332]. Если бы только за прадедов, но и за правнуков, то есть за нас сегодняшних — такой нерешаемый этот вопрос. Вступать или не вступать в колхоз для Моргунка означало «быть или не быть». Лишиться земли — потерять право на выбор, право быть самим собой. При встрече поп-отходник признается Моргунку: у него не только нет прихода — его самого как бы нет на свете.

Отец — глава, как есть семья,  
Пастух — когда есть скот.  
Мужик — мужик, когда земля,  
А поп — когда приход [16, 333].

Отсюда понятна та истовость, с которой Моргунок ищет свою Муравию: он стремится сохранить, отстоять самого себя, свою свободу. Критика 30-х годов потешалась над его отсталостью и ограниченностью, называла его Дон-Кихотом частной собственности. «Бубочка» Моргунка, писал Н. Анин, это путь назад, к «старому капиталистическому строю, к восстановлению прежней эксплуатации, к прежней нужде, голоду, страданиям. “Своя бубочка” — это тот никому неведомый и невозможный третий путь, о котором говорил товарищ Сталин на Первом съезде колхозников-ударников» [17, 147].

Работа над поэмой давалась нелегко, шла рывками — то на высочайшем творческом подъеме, то с кризисными торможениями. Твардовский то замахивался охватить в трехчастной эпопее широкое поле народной жизни, то не отходил от Моргунка, пристально наблюдая за его путешествием, поступками, жестами, прислушиваясь к его словам и умолчаниям. Реализовать свой замысел «кулацкому» поэту в условиях 30-х годов было крайне рискованно. Критик Ан. Тарасенков, хорошо знавший поэта и все им написанное, верно уловил источник этого риска: «Вся проблема Моргунка ... это проблема инерции, косной сопротивляемости ... новым отношениям и новому строю» [18, 67]. Миновать с таким героем цензурные заслоны помогла Твардовскому

крестьянская хитрость. Моргунок, по его словам, в самой опасной, «сталинской», главе поэмы «понимался как темный, смешной в своей психологии “последнего единоличника” мужичонка, — таким я старался его представить... Но теперь его смешные мечтания выглядят исторически вещими» [19, 117].

Поэма «Страна Муравия» была для Твардовского не только очередным творческим актом, но делом неотложным, вопросом жизни и смерти. Причем не только личным, но и касающимся судьбы отцовской семьи и крестьянства в целом. На обсуждении первой редакции поэмы в Москве Твардовский признавался: «Материал, на котором построена вещь, не случаен, это материал, имеющий ко мне большое жизненное касание» [20, 194]. Все было поставлено на карту и для Моргунка (в котором так много от отца поэта): либо найти свою Муравию, либо дать подписку, что он придет в колхоз. Это ведь и о нем в черновиках поэмы:

По земле пройду, как муха  
Ходит по стене.  
И ни помину, ни слуху  
Нету обо мне.

И дождем замоет летним  
Одинокий след,  
Что прошел мужик последний  
Через белый свет [16, 357].

Почти до самых последних страниц Твардовский был недоволен тем, как написались та или иная глава или эпизод. И даже услышав немало хвалебных отзывов, он признается Ан. Тарасенкову: «Сам-то я знаю, что поэма плоха...» [11, 45]. Труднее всех давалась «сталинская» глава и отдельные сцены с его участием. Об одном из свадебных эпизодов с выпившими гостями за столом, где Сталин упрекает жениха, что он не посадил рядом с ним свою мать, Твардовский резюмирует: «Никак не годится» [16, 377]. Получалось слишком идейно, «выдержанно», сусально, в духе набирающих силу мифов о вожде. К тому же это нивелировало драматизм поисков Моргунка. Не из легких была проблема избавления от «повествовательной нуды», от всевозможного «крохоборства» ради полноты картины. Твардовский стремился к уплотнению, к «тесноте стихового ряда» (Ю. Тынянов), к сказочной символике и психологической убедительности в словах и поступках. Разумеется, тут очень ему помогли и народные легенды о поисках вольных земель, и всевозможные «хождения», и Пушкин, и Некрасов, и Бунин, и вся мировая классика, которую он неустанно осваивал. Собираясь быть «народным поэтом», Твардовский стремительно отходил от официальщины, от газетных штампов и литературщины. Он понимал, что для настоящего успеха необходимо «индивидуализировать людей, выводить их за пределы ходячих понятий: «колхозник-акти-

вист», «комсомолец-ударник», «новая женщина» и т. д.» [16, 324]. Его крайне удручила поэма А. Безыменского «Политотдельская свадьба». В ней «общий тон по отношению к “деревне”, если разобратся, недостойный пролетарского поэта». Да и сама деревня здесь «лубочная, литературная, люди — немножко дурачки, и поэт не дает им думать и поступать более уважительно» [16, 325]. Все это можно подделать, сгородить из готовых, штамповых представлений о людях деревни. Темные, отсталые, закоренелые собственники — иного отношения к крестьянам и не могло быть, раз их так спешно превращали в пролетариев.

Новым и едва ли не самым опасным эпизодом в творческой истории поэмы был «горьковский сюжет». Закончив поэму, Твардовский ищет возможность показать ее Горькому — «дело страшно важное по очень серьезным и честным соображениям» [21, 308]. Поэту «почему-то верится, что она ему хоть немного понравится» [21, 310]. Ему тоже, как и Моргунку Сталин, был необходим «народный заступник». Однако оба ошиблись. В критических отзывах о себе, в разное похвал и проработок с приговорами, от которых бросало то в жар, то в холод, Твардовский искал «добросовестного разбора своих вещей» [11, 27], высшего литературного суда, пусть нелицеприятно, но справедливого. Но не находил. С тревожными предчувствиями, которые его не обманули, он передает Горькому (через Исаковского) первую редакцию поэмы. А через 20 дней получает ее с пометами, вопросами и резолюцией от своего кумира: «Не надо писать так, чтобы читателю ясно видны были подражания то Некрасову, то Прокофьеву, то — набор частушек и т. д. Автор должен посмотреть на эти стихи, как на черновик. Если он хочет серьезно работать в области литературы, он должен знать, что “поэмы” такого размера, т. е. в данном случае: длины — пишутся годами, а не по принципу: “Тяп-ляп, может, будет корабль, или:

Сбил, сколотил — вот колесо!  
Сел да поехал — ох, хорошо!  
Оглянулся назад —  
Одни спицы лежат”» [16, 394].

Твардовский был оглушен. Через два дня в его рабочей тетради появляется запись: «Подкосил дед, нужно признаться» [16, 390]. Однако и после такого удара он не падает духом и готов к равноправному диалогу с «дедом»: «Обдумал. Отчувствовал. Переживем. И да обратится сие несчастье на пользу нам. Слов нет, теперь для меня более явственны сырые места. А что продолжает оставаться хорошим, то, видимо, по-настоящему хорошо. Испытание, так сказать.

Всё буду слышать: и восхищение, и такие отзывы, как “колесо”, а работа будет продолжаться. Дед! Ты заострил лишь мое перо. И я докажу, что ты ошибку давал» [4, 390]. Дерзость таланта!

Твардовский не просто выписал самое важное и нужное — он буквально снял копию с «Замечаний», не щадя своего самолюбия. Замечания Горького касались в основном словоупотребления, «чистоты» языка, за что он так истово боролся в то время. Иногда они шли от непонимания деревенских реалий. Например, рядом со словами «Косы вверх заносят» он написал: «Зачем?» Тому, кто сам косил или видел, как косят другие, это понятно: заканчивая ряд, поднимают косы на плечо и возвращаются, чтобы вести новый ряд. К чести Горького, он не сделал ни одного открытого замечания политического характера, оставив лишь непонятные отчеркивания на особо «опасных» местах: «И никого не спрашивай», «И все твоё перед тобой», «Земля в длину и ширину кругом своя», «И надо всей страной рука, зовущая вперед», «Посеешь бубочку одну — и та твоя» и др. Но тут-то и собака зарыта: в этих строчках наиболее прямо выражены вольнолюбивые устремления Моргунок. Для Горького русский мужик — носитель «звериных, зоологических инстинктов», а у Твардовского он сказочно-поэтический, положительный герой. Горький увидел в поэме своего давнего врага — собственника: «Именно мелкий собственник, выходец из деревни, являлся и является идеологическим отравителем пролетариата, заражая его одновременно и древними суевериями крестьянской массы и воспринятой мещанином от средней буржуазии психикой хищника индивидуалиста» [22, 393]. В тот момент, когда уже совсем дожимали крестьянина, Горький пишет К. Федину: «Мужицкая жажда “воли” была жаждой права на беззаконие» [23, 266]. Это вывернутая наизнанку демагогия, ибо беззаконие как раз совершалось по отношению к мужику. Оно вполне оправдывалось его печально известной статьёй «Если враг не сдается — его уничтожают». В письме к П. Д. Соломеину (1933 г.), оценивая поступок Павла Морозова как «героический», имеющий «очень широкое социально-воспитательное значение в глазах пионеров», Горький далее пишет: «Если “кровный” родственник является врагом народа, так он уже не родственник, а просто — враг и нет больше никаких причин щадить его» [23, 328]. Вспомним, как обошелся Моргунок с Павликом, сыном Бугрова, укравшим у него коня: ни прогнать его, ни выместать на нем отцовскую вину он не захотел, да и не мог. Он просто пригрозил его как своего. Однако Горький не нашел в себе ни одного доброго слова не только к этому мужику, но и к автору, создавшему одно из лучших произведений о крестьянстве, переживающем грозную стихию великого перелома.

Вникнув в пометы, отчеркивания и резолюцию Горького, Твардовский стал бояться каких-то дальнейших его шагов. Он просит Исаковского узнать, «будет ли А. М. иметь против того, чтобы поэма моя печаталась, принимая во внимание, что-де автор

проделал и делает над ней большую работу и т. д. Можно даже сказать, что вот, мол, ее и принимают к тому же в журнале, можно даже сказать — в каком (в «Красной нови». — В. А.). Иначе я боюсь того, что пусть поэма и будет напечатана, а Старик ахнет ее по макушке» [21, 317]. Через четыре дня он снова пишет о своих нештучных страхах: «Разрешает ли А. М. печатать мне поэму, поскольку ... такая возможность мне открывается и поскольку автор сугубо поработает еще над вещью, учтя и т. д.?»

Миша, посоветуй, подумай, как лучше. Я только чувствую, что если А. М. вдруг стукнет меня в статье, то я буду обращен в пепел и прах» [21, 319]. Горьковские «колесо» и «спицы», словно глубокая заноза, ныла и болела в нем. И даже после многочисленных одобрений поэмы, имея перспективу ее отдельного издания в Смоленске, он весь в тревоге: «Окажется, что она совсем-совсем плохая, и попадет книжонка Горькому, и объявит он меня на всю Россию щелкопером и мазуриком...» [21, 327]. Заметим, что после всех этих перипетий и страхов, «колес» и «спиц» Твардовский остался верен Горькому: «Мне кажется, что только я самым глубочайшим и сердечнейшим образом понимаю А. М.» [21, 606]. Наверно, потому, что он не был так политизирован, как Горький, и гуманизм его не отрывался от «святого и грешного», «живого и теплого» человека — Никиты Моргунок, Василия Теркина, тетки Дарьи, даже от Ильи Бугрова. Но еще и потому, что ему удалось победить и себя, и обстоятельства: из «разворошенного крестьянского и вообще мира» [16, 389] создать сложную гармонию художественного мира поэмы...

Многочисленные читки и обсуждения, проходившие с апреля по декабрь 1935 г. включительно, а после ее публикации — серия положительных статей и рецензий — были спасительными для Твардовского, они отвели от его головы репрессивный меч 1937 года, под который он должен был попасть первым из всех смолян как самая крупная творческая фигура в писательской организации. Первые оценки «Страны Муравии» прозвучали в апреле 1935 года за год до ее публикации (редкий случай!) на областном совещании поэтов Западной области. Отвергая политические нападки на Твардовского, М. Серебрянский говорил, что они вызваны непониманием специфики его стихов, фактически «товарищи отказывают Твардовскому в звании советского поэта» [24, 74]. Но на многочисленные обвинения он «ответил делом, т. е. новым произведением, большой поэмой на колхозную тему» [24, 75]. Она еще не закончена, но даже «по черновику можно оценить ее как интересное явление советской поэзии ... о современной деревне» [11, 75]. Поддержал Твардовского и С. Кирьянов, который подчеркивал, что поэт идет трудными путями, на которых много опасностей. Поэтому он порой «заговаривал не нашим го-

лосом» [25, 90]. Но поэт растет, преодолевает сухость, бесстрастность, объективизм, «упорно движется по пути правдивого, реалистического отражения жизненных явлений. Поэма «Страна Муравия», над которой он сейчас работает, показывает это с несомненной очевидностью» [25, 93]. Это давало зелёный свет Твардовскому.

«Само по себе явление, даже самое значительное, — поясняет В. Шкловский, — не может быть основой художественного произведения» [26, 294]. Действительно, мы много принесли вреда литературе, фетишизируя великие события: революцию, гражданскую войну, коллективизацию и т. п. За эти события прятались многие, кое-как стряпая свои опусы. Но если те же события выходили из-под пера большого художника (Шолохов, Булгаков, Платонов, Твардовский), они становились вдвойне великими. Если пристальнее взглянуть в «Страну Муравию», разве ее «основа» — коллективизация? Если бы так, то Моргунок не следовало бы пускаться в дорогу, ибо все уже произошло. А вот путь его, поиски, надежды, радости, тревоги, сомнения, его трепетная, любящая душа заняли все пространство поэмы. Тут четко обозначен только начальный пункт его скитаний да тот самый большак, по которому когда-то шел на Москву (и бежал обратно) Наполеон. Это весьма важная для понимания происходящих событий деталь. В каком направлении Моргунок движется? Не в географическом, а в космическом, открытом во все стороны света, пространстве: «С утра на полдень едет он» (в черновиках несколько иначе: с востока на запад). Земля под ним, свет белый с четырех сторон, а сверху — облака, но это никак не границы, а только указатели беспредельности.

Муравия так и не найдена, она либо осталась в прошлом, либо скрылась в далеком будущем, либо живет в мечтах и помыслах Моргунка. Зато дорога, по которой так или иначе движется Никита, прописана с таким обилием подробностей, словно за ним следила видеокамера. Она настолько предметна и убедительна, будто живая. Тема дороги в поэме не только сквозная, но и преобладающая, она вырастает в символ исторического пути крестьянства. Если вначале она как-то бодрит и подталкивает Моргунка (хотя он и пустился в дорогу «не с добра»), то с главы восьмой уже не «бежит», а «тянется», он устал и утомлен и завидует придорожному кусту, который всегда на одном месте, т. е. дома.

А ты скитайся, разъезжай,  
Сам при себе, один... [7, 256]

Да и конь его «перепал и взмок», будто весь день ходил под плугом. Мало сказать: какую даль Моргунок проехал. А вот порыжелый пиджак и сам он — «весь в пыли, как хлеб в золе» — лучшее тому подтверждение. Ко всему прочему он и коня лишился, пришлось самому впрягаться в оглобли и тащить телегу, мучась от тяжести и казнясь от стыда.

Моргунок волочит ноги  
Тяжело... [7, 261]

Дорога удлиняется, а Муравия отодвигается еще дальше. На пути края неизвестные, реки незнакомые, стороны чужедальные, люди чужие. И даже солнце, кажется, всходит с другой стороны. Если раньше дорога измерялась космическими, безграничными мерами —

Как много неба и земли  
Осталось позади [7, 256],

то теперь земными, обозримыми: «от пятьсот девятого до пятьсот десятого столба», от куста и до куста, от моста и до моста. Чем дальше он от родного двора, тем сильнее упреки себе.

Вот бросил он семью и дом,  
Уехал в белый свет [7, 259].

По бесчисленным дорогам бредет разный люд — от святых до преступников: Моргунок, суровый богомол, вороватый поп-отходник, озлобленный Бугров с мальцом, безработный пролетарий, Степка Грач, волокущийся «домой с канала».

С неизвестным разным людом  
Сводит ночью огонек.

Кто такие и откуда —  
Знать не знает Моргунок [7, 249].

Под его телегой «своя хата-потолок», на дороге он встречает новый день и тревожный ночлег. С каждой верстой не приближается, а в недостижимой дали оказывается предмет его мечты.

Далеко-далёко где-то  
Спит Муравская страна [7, 251].

«Где-то», «далеко», а еще и «далёко» — даль как бы утроена, Муравия словно отодвинута этой строкой в запредельность. Оказывается, мотив-символ «за далью — даль» зазвучал у Твардовского еще в 30-е годы. Но тогда эти дали были для него больше утопическими, чем историческими.

Посмотрим, как меняется в поэме характеристика года великого перелома. В седьмой, «сталинской», главе этот год назван «великим». Но скорее под сталинскую руку, зовущую вперед, Моргунок же требует:

Товарищ Сталин, дай ответ,  
Чтоб люди зря не спорили:  
Конец предвидится ай нет  
Всей этой суетории?..

И жизнь — на слом,  
И все на слом —  
Под корень, подчистую [7, 253].

Велик он, наверно, совсем по другой причине: по тому, что пришлось перенести народу.

Нет, никогда, как в этот год,  
В тревоге и борьбе,  
Не ждал, не думал так народ  
О жизни, о себе... [7, 252].

А в следующей, «бугровской», главе Илья Кузьмич говорит: «Кромешный год такой...» [7, 257]. Он,



оборванный и босой, бредет с мальцом из «хорошего края», где «в лесу, в снегу стоит барак, Ложись и помирай». И за это «помирай» Бугров намерен

Таких наделать дров, —  
Земли переверот!..

На колокольни встать бы, брат,  
И сверху б — в добрый час —  
На всю Россию бить набат!  
— Да не во что как раз... [7, 258].

В автобиографии Твардовский писал: время коллективизации «явилось для меня тем же, что для более старшего поколения — Октябрьская революция и гражданская война» [7, 23]. П. С. Выходцев приводит любопытные строфы из «неизвестной редакции» поэмы, которых нет ни в черновиках, ни в окончательном тексте, но крайне важные для оценки года великого перелома, когда «крест-накрест все идет» [7, 287].

В тот год с потемок до света,  
С рассвета дотемна,  
Казалось, ехала и шла  
Походом вся страна.

В тот год, как ехал Моргунок,  
Тоскуя о семье,  
Нам не хватало тех дорог,  
Что были на земле...

Те дни, и песни, и дела,  
Тот год и та весна  
Уже проходят, как прошла  
Гражданская война [27, 41].

П. С. Выходцеву представляется, что сравнение коллективизации с гражданской войной «вводит описываемые события в большую историю» [27, 41]. Однако не столько масштаб этих событий важен для Твардовского, сколько их похожесть, характер: война внутри народа (да и с народом), о чем сам Сталин говорил Черчиллю.

А. Турков в одной из своих статей укорял Твардовского за нетипичность отъезда и прощания Моргунка с прежней жизнью. Вот что ответил ему Твардовский: «Эти годы характерны массовым бегством из деревни в города, на новостройки и т. п., по вербовке и так, с настоящими и фальшивыми справками, с семьями и без них, словом, это как раз время отъездов и прощаний с дедовскими местами — «переселение народов» — в этом-то, по-моему, и типичность фантастического отъезда Моргунка из родных мест» [28, 124–125]. Председатель загорьевского колхоза «Новая жизнь» как-то спросил Твардовского (как Моргунок пытал когда-то Сталина): «Какой же все-таки будет конец нашей местности»? Конец печальный, о чем Твардовский писал и в «Родине и чужбине», и в рабочих тетрадях, и в лирике 60-х. Но впереди была новая «суето-

рия» — развал колхозов, обезлюживание и вымирание деревни, словом, те же Острова, как в «Стране Муравии». В конце жизни, сурово оценивая последние главы поэмы (в особенности «фроловскую»), Твардовский остался доволен именно четырнадцатой главой: из этих последних «есть только одна достойная, независимая от духа времени» — «Острова» [29, 153]. Не только в 30-е годы — всю жизнь ему пришлось с болью и муками совести думать «о деревне, о ее исторической судьбе в социализме, о деревне, откуда не только юность, старость убежала и забивалась в щели городов, о той, где уже ни поздних одиноких гармоней, ни гулянок (о них и Теркин мечтал. — В. А.), ни черемух, которая увезла свои гармони на дальние стройки, в пригороды столиц, в казахстанские степи» [2, 104]. У «великого перелома» оказались очень дальними последствия, вот почему так бесконечно длинна дорога Моргунка. Сколько труда, сколько дум, сколько слез и жертв выпало на ту дорогу. Не устоял на горочке крутой тот кустик-хуторок, а теперь вот и колхозы новым наводнением смыло...

Читая сегодня поэму, удивляешься, как она могла тогда появиться? И канал, и Соловки, и барак в лесу — «ложись и помирай», и «на всю Россию бить набат», и мужик в оглоблях, и «суетория», и «все на слом», и когда-то запрещенные, а потом восстановленные строки, прямо передающие то, что было на самом деле.

Их не били, не вязали,  
Не пытали пытками,  
Их везли, везли возами  
С детьми и пожитками.  
А кто сам не шел из хаты,  
Кто кидался в обмороки, —  
Милицейские ребята  
Выводили под руки... [7, 233].

Да, много такого находили в поэме, что было непроходимо, но почему-то прошло. Может, потому, что победа над крестьянством (без сомнения — Пиррова) была к моменту появления поэмы одержана. Однако в ней много недосказанного, непроговоренного, тут работает тот же принцип, что и в «Книге про бойца»: «Что он думал, не гадаю, Что он нес в душе своей...» [30, 310]. Действие поэмы происходит в безмерном пространстве, словно все селения слились в одно — ведь прошла по стране «сплошная» коллективизация: «А что ж, у вас — артели? — Кругом артели. Сплошь» [7, 263]. В поэме названы многие регионы и части света: Европа и Сибирь, две страны — Россия и Муравия, несколько городов и поселений — Москва, Киев, Соловки, Канал, две деревни — Васильково и Острова, три исторических имени — Наполеон, Ленин, Сталин. Почти все знаковые, с определенным, действующим подтекстом. Время действия названо почти прямо: год великого перелома и «На тринадцатом году» (после револю-

ции), то есть 1930 год. Появляются и другие обозначения, но это не даты, а предположения. Фролов уверен, что колхозная жизнь затеяна «навечно». Однако преобладающая неопределенность времени и пространства, названий и направлений дорог, местонахождения самой Муравии — все это не только поэтический принцип Твардовского, но и его нежелание давать уточняющие даты и координаты. Весь в раздумьях и вопросах остается до конца поэмы и Никита Моргунок.

Знаменательна и такая вроде бы техническая, малозаметная особенность графики текста, как обилие многоточий (всего их около 300). В них частые уходы от продолжения разговора или описаний, «ныряние» мысли в темную глубину или намеки на то, о чем можно догадаться. Многоточия расширяют не только пространство мыслей и переживаний, но и арену действия, сообщая ему глобальность и драматизм. В первой главе, запевной и бодрой, всего четыре многоточия. А во второй (о свадьбе-поминках и Соловках) их 22! В третьей, для Моргунок прощальной — 13, в седьмой, «сталинской» 14, в восьмой, «бугровской» — аж 28! В четырнадцатой главе (об Островах), где невиданный разор, где «крест-накрест все идет» и где Моргунок оценивает великий перелом почти по-бугровски («жесткий год», а на уме, возможно, было «жестоким»), многоточий больше, чем в любой другой — 29! Случайно ли это? Вряд ли. Именно здесь он обращается к островитянам так, как ни разу не обратился к колхозникам: «друзья», «братцы». В самой большой, «свадебной», главе многоточий всего 12, да и то они больше технического, чем смыслового порядка. Свадьба как обряд породняет всех, заставляет забыть о бедах и неурядицах. Свадьба здесь не «кулацкая», не «красная» и не «комсомольская», а традиционная, совсем по-другому ощущает себя здесь Моргунок, чем на свадьбе-поминках: «Пью. Откровенно пью!» [2, I, 306]. Как и на колхозном току, включаясь в свою излюбленную работу — обмолот, он радуется общему веселью, отвешивая поклоны на все стороны.

Да я, — кричит Никита, —  
Не хуже всех людей! [7, 306].

Однако не свадьбой завершается поэма. Его, отъехавшего «за тридевять земель» от родной стороны, по-прежнему томит бесконечная дорога, по-прежнему он в поисках и сомнениях.

По той, а может, не по той  
Дороге едем, друг?.. [7, 311].

Не видно — близко ль, далеко ль,  
Куда держать, чужак?

Не знаю, конь. Гадаю, конь.  
Кидаю так и так... [7, 312].

Как и в начале поэмы, в конце ее возобновился с новой силой разговор с конем.

Кладет Никита на ладонь  
Всю жизнь, тоску и боль...  
— Не знаю, конь. Гадаю, конь.  
И нам решаться, что ль?.. [7, 312].

Очень уж нерадостным окажется это решение, если оно будет принято. Почему же он так мучится? Ведь увидел и фроловский, и цыганский колхозы, в обмолоте и на свадьбе поучаствовал, всеми вроде бы принят без подозрений и осуждений. Казалось бы, вот оно решение: вступай в колхоз. Но Моргунок после встречи с «остатным богомолем» понял: раз тот не дошел до лавры, так и ему не суждено дойти до своей Муравии:

В один конец,  
В другой конец  
Открытый путь пролег... [7, 313].

Дорога измеряется то временами года (весна, лето), то кампаниями (пахота, сев, уборка, обмолот), то реками, то верстами, то селениями, то землей и небом, то сторонами света, то встречами. И все встречи поучительны, хотя подчас и такие горькие.

Зато мне все теперь видней  
На тыщи верст кругом [7, 314].

Все он видит, все замечает, на все по-человечески реагирует. Только вот Муравии и конца своего пути не видит. По времени не так долго пробыл он в дороге — от пахоты до обмолота, а кажется — целую вечность. Бесконечная дорога обернулась протяженным временем его раздумий и тревог. Встреча с богомолем, вернувшимся с полдороги, стала решающей. Если сам бог не у власти, значит и Муравии нет?

Скажи, Муравская страна  
В которой стороне?..

И отвечает богомол:  
— Ишь, ты шутить мастак.  
Страны Муравской нету, мол.  
— Как так?  
— А просто так.

Была Муравская страна,  
И нету таковой.  
Пропала, заросла она  
Травой-муравой [7, 313].

Моргунок верно понял ответ богомола — Муравию подменил колхоз. Надо вступать?

Тебе — видней:  
По воле действуй по своей... [7, 313].

Но колхоз — не его выбор, а неизбежность, другого пути просто нет. Так и оставлен Моргунок в дороге — глубоко задумавшимся, никуда не пришедшим, остановившим взгляд на удаляющемся богомоле.

И долго, долго смотрит вслед  
Никита Моргунок [7, 314].

В свое время критики посчитали этот финал слабым (С. Швецов, В. Инбер, В. Ермилов, Я. Черняк

и др.). Почему? Нет разрешения поиска, нет твердо-го решения Моргунка (позднее будут так же упре-кать Шолохова: не привел Мелехова в стан красных).

В чем же тут первопричина? В авторе? В герое? В эпохе? В извечной ситуации выбора? Но если смотреть хоть чуть-чуть дальше своей эпохи, надо по-другому трактовать эти финалы. Как сказал богомол, страна Муравия, возможно, была, она и сейчас есть, только заросла травой. И бог ведь есть (хотя — «бывший»), только божьи храмы под клубы, склады и тюрьмы определили. Быть может, надо было богомолу все же дойти до лавры, а если нет — то умереть на дороге, а не возвращаться во фроловский колхоз, откуда его не отпускали — «и стыдили, и грозили»? Или тому же Моргунку — не останавливаться в сомнении, а все-таки добраться до Муравии, протоптать тропинку к своему «кусти-ку-хуторку»? Не бояться осуждения колхозников и не разменивать свою мечту на «пустопорожние» трудовни?

В рабочих тетрадях изо всех, к кому обращался Моргунок с вопросом о вступлении в колхоз, отри-цательно ответил один безымянный печник.

— Что ж, в колхозе? — спросил Моргунок.

— Нет, пока еще нет, сынок.

Вот уж скоро семьдесят лет

Не в колхозе, и горя нет.

— А богатство, гляди-ка, у них!..

— Ну ты что! — замахал печник.

Не в богатстве счастье, сынок [16, 351].

Ему ой как не сладко живет в семье, но это им выбранная жизнь.

Три калеки, сынок, у меня...

И хожу до последнего дня.

До последнего в жизни дыхания

Добываю на всех пропитание [16, 351].

Но не спешит он под крышу колхоза, пусть в бедности, зато по своей воле хочет жить печник. Вернувшись с шабашки, он вместе с семьей поет «любимую нашу». О чем же эта песня? О «темнице сырой»! Мотив клетки, тюрьмы, решетки проходит через все черновики и «Страну Муравию», и связан он, как видим, не только с кулаками и подкулач-никами.

И Моргунок, и богомол чувствуют себя «послед-ними». Моргунок: «Оставлен, мол, такой чудак Один во всей державе» [7, 254]. Богомол: «Может, я один в России Верен богу остаюсь» [7, 299]. Но от этого «один» они и заколебались. В этом и проявился тра-диционный русский характер: «как все, так и я». Потому-то они и соступили со своего пути. Это обер-нулось такими бедами и жертвами, которые, навер-но, когда-то научат нас до конца держаться избран-ного курса. Твардовский со своей тропы не соступил, хотя абсолютно прямой она не была...

## ЛИТЕРАТУРА

1. Твардовский А. Новомирский дневник / А. Твар-довский. — М., 2009. — Т. 1 : 1961–1966.
2. Твардовский А. Из рабочих тетрадей (1953–1960) / А. Твардовский // Знамя. — 1989. — № 7.
3. Твардовский А. XX век. Голограммы поэта и исто-рика / А. Твардовский, М. Гефтер. — М., 2005.
4. Твардовский А. Дневник 1950–1959 / А. Твардов-ский. — М., 2013.
5. Маяковский В. В. Собр. соч. : в 12 т. / В. В. Маяков-ский. — М., 2009. — Т. III.
6. Твардовский А. Новая изба / А. Твардовский // Смоленская деревня. — 1925. — 19 июля. — № 27.
7. Твардовский А. Т. Собр. соч. : в 6 т. / А. Т. Твардов-ский. — М. 1976. — Т. 1.
8. Твардовский А. Т. Собр. соч. : в 6 т. / А. Т. Твардов-ский. — М. 1976. — Т. 3.
9. Каминарская М. «Я человек эпохи Москвош-вея...» / М. Каминарская // Советская литература. — 1996. — № 6.
10. Маршак С. Ради жизни на земле. Об Александре Твардовском / С. Маршак. — М., 1961.
11. Несгоревшие письма. А. Т. Твардовский и М. И. Твардовская пишут А. К. Тарасенкову в 1930–1935 гг. — Смоленск, 2006.
12. Буртин Ю. Исповедь шестидесятника / Ю. Бур-тин. — М., 2003.
13. Октябрь. — 1988. — № 11.
14. Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачива-ние (начало 30-х годов) / Н. А. Ивницкий. — М., 1994.
15. Шкловский В. Жили-были / В. Шкловский. — М., 1966.
16. Твардовский А. Рабочие тетради 1933–1935 гг. / А. Твардовский // Литературное наследство. — М., 1983. — Т. 93.
17. Анин Н. В новом доме / Н. Анин // Красная новь. — 1941. — № 5.
18. Обсуждение «Страны Муравии» в ССП 21 декабря 1935 г. // Несгоревшие письма. — Смоленск, 2006.
19. Твардовский А. Из рабочих тетрадей (1953–1960) / А. Твардовский // Знамя. — 1989. — № 8.
20. «Со “Страны Муравии”... я начинаю счет своим писаниям». Стенограмма обсуждения поэмы. Вступ. замечка, публикация и комментарий Р. Романовой // Вопро-сы литературы. — 1984. — № 8.
21. Твардовский А. Т. Собр. соч. : в 6 т. / А. Т. Твардов-ский. — М., 1983. — Т. 6.
22. Горький М. Письмо А. Н. Тихонову / М. Горький // Литературное наследство. — М., 1963. — Т. 70.
23. Горький М. Собр. соч. : в 30 т. / М. Горький. — М., 1956. — Т. 30.
24. Серебрянский М. Заметки о поэзии 1934 года / М. Серебрянский // Наступление. — 1935. — № 6.
25. Кирьянов С. Творчество поэтов Западной области / С. Кирьянов // Наступление. — 1935. — № 6.
26. Шкловский В. За сорок лет / В. Шкловский. — М., 1965.

27. Выходцев П. С. Неизвестная редакция поэмы А. Твардовского «Страна Муравия» / П. С. Выходцев // Русская литература. — 1980. — № 4.

28. Турков А. Что было на веку... Странички воспоминаний / А. Турков. — М., 2009.

29. Твардовский А. Из рабочих тетрадей (1953–1960) / А. Твардовский // Знамя. — 2005. — № 10.

30. Твардовский А. Т. Собр. соч. : в 6 т. / А. Т. Твардовский. — М., 1977. — Т. 2.

*Воронежский государственный университет*

*Акаткин В. М., доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы XX и XXI веков, теории литературы и фольклора*

*Voronezh state University*

*Akatkin V. M., Doctor of Philology, Professor of the Russian Literature of XX and XXI Centuries, Theory of Literature and Folklore Department*